

Ю. ЛОТМАН

ПРОБЛЕМА НАРОДНОСТИ И ПУТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ ПРЕДЕКАБРИСТСКОГО ПЕРИОДА

В разнообразной и богатой картине развития русской литературы 80—90-х годов XVIII века можно выделить три основных тенденции.

Демократическая мысль России¹ создала в последней трети XVIII века целостную идеологическую систему, в которой пафос революционного отрицания феодально-сословных порядков органически сочетался с идеями сенсуалистического материализма и антропологическим взглядом на природу человека. Человеческая природа мыслилась или как исконно добрая, или как *tabula rasa* — ни добрая, ни злая. Вывод в обоих случаях был один: «Следственно, злодеянии не суть природны человеку; следственно, люди зависят от обстоя-

¹ Обращаясь к судьбам народного движения в России, В. И. Ленин употреблял термин «демократический» в разных значениях. Термин этот был для Ленина синонимом понятий «мелкобуржуазный», «крестьянский», «народный», когда речь шла о социальной природе, социальном характере явления. В этом смысле он неизменно сопровождался у Ленина уточняющими определениями. Протестуя против расплывчатого употребления термина, например против подмены понятия «*революционной буржуазной демократии*» понятием буржуазной демократии вообще» (В. И. Ленин и н. Сочинения, т. 10, стр. 234.— Курсив В. И. Ленина), В. И. Ленин всегда указывает, о каком демократизме идет речь. Так, он упоминает «темный мужицкий демократизм» (там же, т. 19, стр. 350) и «буржуазно-демократическое революционное сознание крестьянства» (там же, т. 12, стр. 173).

С другой стороны, понятие «демократическая идеология» используется В. И. Лениным для определения теории, обобщающей освободительную борьбу народа, выражающей действительные интересы

тельств, в коих они находятся». ¹ Зло не присуще природе человека — оно порождается обществом. Это убеждение зиждилось на предпосылках материалистической гносеологии: вера в правильность свидетельства чувств подводила к убеждению, что окружающий человека мир формирует его сознание. Характеризуя систему материализма XVIII века, К. Маркс и Ф. Энгельс писали: «Чувственные впечатления, себялюбие, наслаждение и правильно понятый личный интерес составляют основу всей морали. Природное равенство человеческих умственных способностей, единство успехов разума с успехами промышленности, природная доброта человека, всемогущество воспитания — вот главные моменты его (Гельвеция. — Ю. Л.) системы». ² Человек познает мир, он «имеет силу быть о вещах сведому». ³ Обладая задатками гармонического развития, он «стремится всегда к прекрасному, величественному, высокому». ⁴

Подобный подход служил Радищеву основой для революционного отрицания всей системы феодальных общественных отношений, как искажающих «естественные» свойства человека и несостоятельных перед судом разума и природы. Однако, будучи в условиях XVIII века самой прогрессивной, подобная система воззрений неизбежно принимала антиисторический, метафизический характер. Отрицание «неразумной» современности приводило, как указал Ф. Энгельс, к «наивно-

народа, хотя эта теория в определенных исторических условиях возникает не в народной среде. В этом смысле В. И. Ленин не отождествлял понятие «демократическая» с отражением той или иной теорией представлений и настроений самих масс и указывал, что «той или иной связи с народом приходится искать каждой политической партии, даже и крайним правым» (там же, т. 19, стр. 350).

Мы будем употреблять термин «демократический» именно в этом смысле. Это не позволит применять его для характеристики всего широкого антидворянского лагеря в литературе XVIII века. Там, где речь пойдет о деятелях и произведениях, отличных от господствующей дворянской общественной мысли, но еще не возвысившихся до выражения подлинных интересов русского крестьянина, мы будем употреблять термин «недворянский».

¹ А. Н. Радищев. Полное собрание сочинений, т. I, М. — Л., изд. АН СССР, 1938, стр. 191.

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 2, изд. 2, М., Госполитиздат, 1955, стр. 144.

³ А. Н. Радищев. Полное собрание сочинений, т. II, 1941, стр. 59.

⁴ Там же, т. I, стр. 215.

революционному, простому отрицанию всей протекшей истории». ¹ Материал истории привлекался лишь для подтверждения тех или иных представлений о «природе» человека. Индивид представлялся философам XVIII века «не результатом истории, а ее исходным пунктом», он, «согласно их воззрению на человеческую природу, казалось, не возник исторически, а положен самой природой», — писал К. Маркс. ² Литературное изображение человека с этих позиций неизбежно должно было вестись в двух планах: теоретическом, в котором человек предстал в свете его «естественных» влечений, и историческом, рисовавшем современное, изуродованное состояние его личности. Эти два аспекта в изображении человека предельно четко выделил Радищев, сопоставив, с одной стороны, гармонические пропорции нагого человеческого тела, красоту античной статуи, и, с другой, — предрассудки и деспотизм, безобразящие «благолепную» внешность человека. «Что человеку благолепие сродно, — писал Радищев, — то, с одной стороны, вообразим, что когда он изящнейшие черты изобразить хочет, он изображает нагость. Облеки в одежду Медицейскую Венеру, она ничто иное будет, как развратная жеманка Европейских столиц; левая рука ее целомудреннее всех вообразимых одежд. С другой стороны, представь себе вид безобразный: волосы растерзанные, лицо испещренное жжением, колонием и краскою... свойственная человеку опрятность и благопристойность учили бы его сохранению своего образа в природном его виде, если бы превратность не учила другому. А ты, о превратнейший из всех, ибо употребляешь насилие власти, о законодавец-тигр! почто дерзаешь уродовать благообразие человека?» ³

Демократическому мировоззрению в России конца XVIII века противостояли две идеологические системы, значительно отличающиеся одна от другой и вместе с тем единые в своем объективном стремлении не допустить изменения существующих общественных отношений.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XIV, стр. 25.

² Там же, т. XII, ч. 1, стр. 173—174.

³ А. Н. Радищев. Полное собрание сочинений, т. II, 1941, стр. 54.

Одна из них, в условиях резкого размежевания общественных лагерей в конце XVIII века, в политическом отношении связана была с программой дворянского либерализма. В своих философских основах эта система воззрений, так же как и демократическая идеология, исходила из сенсуалистических представлений, преодолевала рационалистическую гносеологию. Однако при этом мысль о чувственной природе познания истолковывалась с позиций агностицизма и субъективного идеализма. Внешний мир, по мнению теоретиков этого лагеря, непознаваем, и поэтому он не может влиять на формирование человеческого характера. Последнее положение приводило к тому, что восстанавливалось, хотя и на основе совершенно иных гносеологических предпосылок, старое положение картезианского рационализма о врожденных задатках как основе морального облика человека. Поскольку отвергался тезис о решающем влиянии окружающей среды на человека, источником зла не мог считаться несправедливый общественный порядок. Деятели этого направления совсем не склонны были идеализировать современную им действительность. Жизнь, по их мнению, греховна, в ней царствует неправда. Однако причину этого следует искать в злой природе человека. Считая всякое стремление к общественным переменам бесполезным, они противопоставляли идее революции требование внутреннего перерождения и самовоспитания. Вместо социального освобождения выступало требование широкого просвещения членов общества, в том числе и крестьян. Просвещение должно подготовить людей к обузданию их врожденного эгоизма. В литературе эта система идей отразилась в художественном творчестве кружка А. М. Кутузова, а затем, на новом этапе, — в творчестве Н. М. Карамзина. Будучи по всем основным вопросам противопоставлена демократическому мировоззрению, охарактеризованная система идей — в этом сказывалась ее сенсуалистическая природа — имела и существенную общую с ним черту: на первый план выдвигалась проблема человеческой личности. Склонная к добру или исконно злая, но в обоих случаях имелась в виду некая «вечная» природа человека.

Система идей, отвечавшая программе дворянской реакции, была едина с либеральной идеологией в своем отрицательном отношении к революционному пути, тре-

бованиям социальных перемен, к философскому материализму. Она питалась, как и охарактеризованная выше точка зрения, стремлением упрочить, а не разрушить существующий порядок. Однако вместе с тем она была отмечена чертами определенного своеобразия.

Демократическое сознание XVIII века было нормативно. Исторически сложившиеся законы и нормы отбрасывались во имя законов и норм, извлекаемых из природы человека.¹ Руссо писал: «Наиболее постоянной манерой рассуждения у Гроция является установление права на факте <перевод, данный в цитируемом издании, затрудняет понимание; точнее — «обоснование права фактом»—«d'établir toujours le droit par le fait».— Ю. Л.>. Можно было бы применять метод более последовательный, но нельзя найти метода, более благоприятного для тиранов».² Ту же мысль о связи деспотизма и обычая, предрассудков неоднократно встречаем в русской публицистике конца XVIII века. В статье «Рассуждение о человеке и его способностях», созданной под непосредственным влиянием А. Н. Радищева, если не вышедшей из-под его пера, находим следующее положение: человек — «бытие, рожденное для добродетели», и между тем везде он угнетен, «стонет при немилосердных владыках»; «повсюду воспитание его портит и предрассудок отравляет при самом его рождении».³

Для философа-просветителя XVIII столетия, с его революционным и антиисторическим мышлением, с критическим отношением к реально существующему феодально-церковному порядку, действительна была формула: «Все существующее неразумно». Естественно, что в этих

¹ Показателен, например, сарказм, с которым Вольтер говорит об обычаях и «традиционном праве». Так, в «Кандиде», описывая приемы, которые применяли пираты, обыскивая своих пленниц в надежде найти спрятанные брильянты, Вольтер заключает: «Таков обычай, установившийся с незапамятных времен среди цивилизованных наций, плавающих по морям». Следствием «обычая» являются также ограбления и насилия в замке отца Кунигунды. Старуху, безобразно изуродованную при осаде Азова, утешают: «Таков закон войны».

² Ж.-Ж. Руссо. Об общественном договоре, Соцэкгиз, 1938, стр. 5. Руссо снабжает эти слова характерным примечанием: «Ученые исследования о публичном праве часто суть не более как история древних злоупотреблений; и вовсе некстати то упорство, с каким старались их изучать».

³ «Беседующий гражданин», 1789, ч. III, октябрь, стр. 122.

условиях мысль о том, что единственной задачей искусства является воспроизведение действительности, не могла показаться удовлетворительной.

Писатель-просветитель видел цель искусства в *сравнении* реально существующей жизни и «естественного», «философского» порядка и в *осуждении* первой во имя второго. Изображение реального бытия человека интересует писателя не само по себе, а лишь в такой мере, в какой оно может быть использовано для утверждения или опровержения определенных теоретических представлений.

Теоретики реакционного лагеря стремились именно к «обоснованию права фактом»; отвергался сам принцип противопоставления существующему порядку вещей некоего «естественного». Эта точка зрения вмещала в себя и традиционную, ортодоксально-церковную, и воззрения теоретиков абсолютизма. Традиция не только не подвергалась суду разума, но сама оценивалась как нечто гораздо более высокое, чем критическая мысль человека. «Храня обычаи, обряды, не донкишотствуешь собой», — писал Г. Р. Державин.¹ Теоретическим нормам «разумного» порядка противопоставлялось утверждение, что именно исторически сложившийся, уже существующий и освященный обычаями порядок есть единственно возможный. Просветительской литературе, от «Кандида» Вольтера до «Послания к слугам моим» Фонвизина, была глубоко враждебна мысль о том, что существующий порядок разумен, а окружающий мир — «лучший из миров». Для противоположной позиции характерно оправдание существующего. Показательно то, с каким энтузиазмом правительство Екатерины II ухватилось за буржуазные, по существу, идеи физиократов именно потому, что последние называли «естественным» жизненный порядок, сложившийся не на основе отвлеченного разума, а в результате стихийного течения дел, порядок, реально существующий.

Вместе с тем, хотя для оправдания своей позиции сторонники реакционно-охранительной точки зрения так же охотно ссылались на историю общества, как их противники — на его теорию, подлинного историзма в их

¹ Бесспорно, было бы ошибочно зачислять на основании одной этой фразы Державина, поэта сложного, отразившего различные идеологические тенденции, но в основном прогрессивного, в лагерь реакции.

позиции не было. Историзм предполагает стремление рассматривать прошлое человечества как процесс. С другой стороны, историзм включает в себя и представление о том, что общие теоретические положения могут быть извлечены лишь из реального исторического материала. Между тем «охранители» XVIII века исходили из представления о том, что общественный порядок недвижим. Обращением к мнимо застывшему прошлому они стремились оправдать свое отрицательное отношение к самой идее прогресса. Однако реальный исторический материал не мог дать подтверждений их построениям, поэтому, обращаясь к истории, народной традиции, старине, «охранители» оставались весьма далеки от научного, объективного подхода к материалу. Если идеологи демократического лагеря конструировали на основе своих идеалов законы «естественного» порядка, то деятели дворянской реакции под видом «старинны», «народного обычая» предлагали читателю собственные политические догмы, произвольно «опрокинутые» в историю. Но при этом за первыми была правда философского материализма и естественнонаучного взгляда на человека, — вторые имели дело лишь с реакционными утопиями. Поэтому мировоззрение дворянской реакции XVIII века правильнее было бы определить термином не «историзм», а «традиционализм».

Вместе с тем охарактеризованная точка зрения, имея отчетливо реакционный характер, не лишена была и сильных сторон. Именно из этого лагеря порой раздавались меткие критические замечания в адрес упрощенно-антропологического толкования природы человека. В цитированном уже «Введении к «Критике политической экономии» К. Маркс, говоря о стремлении просветителей XVIII века изображать человека не исторически возникшим, а установленным самой природой, продолжал: «Стюарт, который во многих отношениях, в противоположность XVIII веку, стоит, как аристократ, на исторической почве, избежал этой ограниченности».¹

Черты рационалистической абстрактности, присущие демократическому сознанию конца XVIII века, не исчерпывали его характеристики. Если общественные теории строились не на основе исторических изучений, но апри-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XII, ч. 1, стр. 174.

орно извлекались из «природы человека», то, с другой стороны, понимание этой природы связано было с глубоко научным интересом к естествознанию и — более широко — с общепhilosophическим стремлением к познанию объективного мира. Представление об опыте как предпосылке познания объективной действительности толкало не к априорным построениям, а к научному изучению жизни. Сама идея «вечной» природы человека была значительно осложнена тенденциями, намечающими потенциальную возможность движения в сторону историзма.

Элементы преодоления метафизического подхода к действительности в творчестве Радищева и его единомышленников особенно ясно проявились в решении одной из основных проблем литературы тех лет — народности.

Идея господства обстоятельств над человеком выдвигала мысль о географической и социальной обусловленности человеческого характера. Сформулированная Ушаковым — Радищевым мысль о том, что «человек есть хамелеон общества», требовала внесения в художественный образ черт социальной конкретизации. Результатом явился характерный для «Путешествия из Петербурга в Москву» принцип изображения человека как обязанного всем кругом своих нравственных представлений материальным интересам — своим лично («всякое действие его (человека. — Ю. Л.) во благе и во зле есть мздоимно»¹) и своей общественной группы («все те, кто бы мог свободе поборствовать, все великие отчинники»²). Идеи «природного равенства людей», сложно сочетаясь с более конкретным пониманием человеческой личности, создавали характерное противоречие. Черты социальной характеристики воспринимались как некое искажение гармонической основы человеческой личности. В связи с этим степень сочувствия автору тому или иному социальному типу определялась близостью или удаленностью его от идеала прекрасного человека «вообще». Высшим воплощением этого идеала является борец за свободу — не угнетатель и не раб: «Не скот, не дерево, не раб, но человек» (ср.: «Человек, человек потребен для ношения имени сына Отчества»).

¹ А. Н. Радищев. Полное собрание сочинений, т. III, 1952, стр. 30.

² Там же, т. I, 1938, стр. 352.

Интересен в этом смысле образ народа в произведениях Радищева: крестьянин, человек труда, ведет, даже в рабском состоянии, жизнь гораздо более нравственную, чем помещик-угнетатель. Образ крестьянина все время дается в двойном освещении. Это человек угнетенный, уродуемый несправедливым общественным порядком.¹ Но вместе с тем именно сознание несправедливости, противоестественности *этого* порядка требовало, чтобы читатель имел все время в виду *иной*, идеальный мир социального равенства и справедливости, помнил о возможности иного облика народа — прекрасного и героического. Одновременное наличие этих двух планов давало возможность, во-первых, обогатить произведение конкретными бытовыми деталями, рисующими бедственное положение крестьянина, и, во-вторых, насытить каждую из этих деталей пафосом революционного отрицания. Читатель все время должен помнить, что перед ним — жизнь, уклонившаяся от нормы.

Идея зависимости характера от среды вплотную подводила к вопросу об изменяемости природы человека и содержала те зерна диалектики, которые явственно ощутимы в произведениях типа «О происхождении неравенства», «Племянник Рамо», «Путешествие из Петербурга в Москву». С этим была связана явно нарастающая в творчестве Радищева тенденция к социальной и национальной конкретизации образов. Достаточно сравнить «младенцев» в «Отрывке Путешествия в *** И*** Т***» — персонифицированные свойства человеческой природы — и крестьян в «Путешествии из Петербурга в Москву». Наряду с социально-конкретными чертами Радищева начинает интересоваться этнографический, национально-своеобразный облик народа. Этнографическое своеобразие объясняется как результат воздействия географической среды.² При этом в данном случае изображение народа как этнографического и социально конкретизированного типа не воспринималось в качестве

¹ «Рука господина твоего, носящаяся над главою раба непрестанно, согнет выю твою на всякое угождение. Глад, стужа, зной, казнь, все будет против тебя... Ты склонишься и будешь раб духом, как и состоянием» (там же, стр. 350—351).

² «Наипаче действие естественности явно становится в человеческом воображении, и сие следует в начале своем всегда внешним влияниям. Если бы здесь место было делать пространные сравнения,

«искажения» некоей «естественной» сущности. Более того, Радищев сделал попытку именно этот, наделенный определенными чертами конкретности, образ представить в качестве «нормального». Это достигалось путем своеобразной попытки приравнять быт, русский по национальному характеру и крестьянский по социальному признаку, к быту античному, который воспринимался как воплощение «природного» развития свободной человеческой личности. В политическом отношении отсюда возникло стремление доказать, что вече, строй городских республик, наподобие античных, «кажется быть нечто в России древнее, и роду славянскому сосущественно».¹ Это же отразилось и на художественном воплощении типа крестьянина.

Комическая трактовка образов крестьян в системе классицизма связана была с представлением о изменности характера человека из народа, обуянного грубыми страстями и чуждого разуму.

Представление о народе как носителе *этической нормы* потребовало построения иного, *величественного* образа крестьянина. Анюта, ее мать, жених, клинский певец возвышаются не только над другими персонажами произведения, но и над автором-путешественником. Величественный характер этих образов создается и возвышенным строем их чувств и мыслей и торжественностью речи. Народному певцу, «слепому старику» в главе «Клин», приданы черты русского Гомера. Показательно, что трактуемым в подобном духе образам крестьян Радищев как бы придает черты величественной скульптурности. Так, в образе матери Анюты, наряду с торжественной речью, автор подчеркивает ее позу, трудовую

то бы в пример списал некоторые места из «Гюлистан» Саадиева, из европейских и арабских мне известных стихотворцев, что-либо из Омира и Оссиана. Различие областей, где они живали, всякому явно бы стало: увидели бы, что воображение их образовалось всегда окрест их лежащую природою. Воображение Саадиево гуляет, летает в цветящемся саду. Оссианово несется на утлом древе, поверх валов. А если кто захочет сделать сравнение исповеданий и мифологии народов, в разных концах земли обитающих, то сколь воображение каждого образовалось внешностию, никто не усумнится. Индейские боги купаются в водах млечных и сахарных. Один пьет пиво из черепа низложенного врага» (А. Н. Радищев. Полное собрание сочинений, т. II, стр. 64).

¹ А. Н. Радищев. Полное собрание сочинений, т. II, стр. 145

и величественную одновременно. Почти скульптурна и поза клинского певца: «Сребровидная его глава, замкнутые очи, вид спокойствия, в лице его зримого». ¹ Таким образом, делая значительный шаг вперед в методе изображения человека, Радищев на место условного «естественного» человека ставит *национально-демократический* идеал, хотя и толкуемый еще в схематизированной форме. Элемент «нормативности» являлся, однако, необходимой чертой революционной мысли XVIII века и не мог быть отброшен. Более того, никакое иное сознание, кроме метафизического, не могло в рамках идейных возможностей XVIII века послужить основой для революционной теории. Рядом с монументальным образом народа неизменно должна была быть изображена или подразумеваться фигура крестьянина, угнетенного и поработанного. Именно сочетание этих двух аспектов — народа в его сущности и народа в его реальном положении — и придавало произведению революционный, отрицающий характер. Не отказываясь от самой идеи некоей «нормы» человеческого характера, Радищев приравнивает последнюю к национальному, трудовому типу человека.

Новые взгляды вызвали стремление придать искусству народный и национальный характер. Первое понималось как борьба с художественными принципами дворянской литературы. В этой связи возникало стремление противопоставить искусству «красных вымыслов» (Карамзин) истину как критерий художественного достоинства, изящным безделкам и салонному эстетизму — требование эпических жанров, «важности» и простоты. Стремление придать искусству национальный характер вызвало к жизни попытки реформы стихосложения, поиски в области народной ритмики, интерес к «Слову о полку Игореве». ²

В начале XIX века радищевская традиция демократической мысли переживала глубокие перемены.

Попытки реакции 90-х годов разгромить народное движение, подавить освободительную мысль, парализо-

¹ А. Н. Радищев. Полное собрание сочинений, т. I, стр. 373.

² Богатый материал о различном истолковании вопросов народной поэзии в связи с идейной борьбой на рубеже XVIII—XIX веков содержит ценная книга М. К. Азадовского «История русской фольклористики», т. I, М., Учпедгиз, 1958.

вать ее влияние на общество закончились провалом. События 11 марта 1801 года показали, что даже правительственная верхушка поняла, в какой мере откровенно-реакционный курс расшатывает, а не укрепляет позицию феодальной монархии. Но вместе с тем и демократический лагерь оказался в сложном положении: революционный подъем в Европе, волна крестьянских движений в России явно спадали. Силы крестьянской демократии в России оказались слишком разрозненными и незрелыми, а правительству удалось в последней трети XVIII века консолидировать в своих руках мощный военно-бюрократический аппарат. Рассчитывать на близость революционного взрыва не приходилось. В этих условиях демократическая мысль переживала исторически неизбежный процесс отступления от целостной революционной системы идей, выработанной А. Н. Радищевым. Сохраняя основные принципы мировоззрения: философский материализм, антропологическое понимание природы человека, веру в его прекрасные возможности, идею господства общественных условий над человеком, — демократическая мысль первых лет XIX века утратила революционные выводы, которые логически вытекали из перечисленных принципов. Ненависть к паразитическому барству сохраняется, но усиливается вера в освободительную инициативу правительства. Изменения общих принципов мировоззрения отразились и на подходе к главной литературной проблеме эпохи — народности.

Одним из существенных аспектов народности являлся вопрос об изображении народа в литературе.

Двуплановое изображение народа (реальный и возможный облик) явилось порождением метафизичности революционного мышления XVIII века. Потеря революционности неизбежно приводила и к отказу от этого метода изображения крестьянина. Из указанных двух планов отбрасывался именно современный, ибо, поскольку сознание оставалось нормативным, всякое изображение реального крестьянина, даже если автор был далек от идеи отрицания действительности, неизбежно сопоставлялось бы читателем, воспитанным на произведениях Руссо, энциклопедистов, Радищева, с нормой «естественной» жизни. Изображение же только идеального народа и жизненного порядка, позволяя сохранить общие принципы демократического мировоззрения, не

придавало, однако, произведений характера непосредственно бунтарского. Именно с этим связано усиление в литературе недворянского лагеря первого десятилетия XIX века интереса к античной тематике. Мир античных образов воспринимался как изображение людей, простая, трудовая и свободная жизнь которых способствует гармоническому раскрытию прекрасных возможностей человеческой личности. А. Ф. Мерзляков в предисловии «Нечто об эклогах», предпосланном книге переводов «Эклоги П. Вергилия Марона» (1807), говорил о том, что крестьяне «могут быть представляемы в трех состояниях». Первое — утраченное — состояние естественной свободы, «какими они были во времена равенства». Другое — современное — «когда нужда и сила произвели властителей и рабов, когда приобрели они себе работы тягостные и неприятные, потребности низкие, понятия грубые и жалкие». Оба эти аспекта мыслятся как исторически одинаково реальные. Им противопоставляется третий — изображение крестьян «такими, какими они никогда не были, но могли бы быть, если бы сохранили более свою невинность и свободу, если бы, образуясь, не развращали себя и, распространяя свои познания, не умножали нужд своих». ¹

Отдавая предпочтение первому способу изображения, Мерзляков обращается к переводам из античных авторов. Интерес к античности в данном случае не может быть, однако, отождествлен с аналогичными тенденциями классицизма.

Античные образы воспринимались в системе классицизма как воплощение идей отвлеченного разума. Их истинность, нормативность обусловлена была предельной абстрактностью. Литературный персонаж воспроизводил не живую человеческую личность в ее материальной сущности, а являлся воплощением отвлеченного морально-политического качества.

Разбираемая нами художественная система была далека от классицизма. Античный человек для нее — воплощение неискаженных свойств нормальной человеческой личности. «Материальность» образа не является ни аллегорическим заменителем некоей отвлеченной

¹ «Эклоги П. Вергилия Марона, переведенные А. Ф. Мерзляковым», М., 1807, стр. IX—X.

моральной сущности, ни чем-то низменным, попадающим в художественное произведение лишь в качестве идеологически отрицательного материала. Напротив, от демократической мысли XVIII века писатели типа Гнедича, Востокова, Мерзлякова унаследовали веру в высокое предназначение человека именно как реальной личности, в оправданность стремления к земному, физическому счастью.

Вместе с тем нельзя не видеть глубокого отличия античной темы у Гнедича, Востокова, Мерзлякова от антологических стихотворений Батюшкова. Гармонический мир античных образов у Батюшкова — лишь сознательно создаваемая поэтическая фикция. Следуя принципу, сформулированному еще Карамзиным:

Мой друг, существенность бедна,
Играй в душе своей мечтами... —

Батюшков противопоставляет трагическому и непостижимому, по его мнению, миру действительности не идею иного, «естественного» *жизненного* порядка, а поэтически-условную гармонию. В отличие от классицистов, Батюшков не считает свой поэтический мир пиров и изящных наслаждений ни нормативным (то есть общеобязательным, истинным для всех людей, как мир идей классицистов), ни реальным (в том смысле, как это слово понималось картезианским рационализмом, считавшим, что отвлеченная идея обладает по отношению к «случайной» и низменной конкретности высшей реальностью). Но, как и у классицистов, это — мир идей, лишенный материальности, вещности, свободный от каких-либо этнографических и исторических признаков. Не случайно так легко «маленькая философия» Батюшкова разбилась о реальные факты «грубой» действительности.

Для Гнедича, Востокова, Мерзлякова, а также ряда других менее значительных поэтов недворянского лагеря античная тема, во-первых, связывалась с определенным, вполне реальным жизненным порядком, имела конкретные этнографические приметы. Это заставляло обращаться к древним греческим и римским поэтам в подлинниках. Труд поэта органически сливался с разысканиями филолога-комментатора и историка. Воспроизведение античной лирики стилистическими и мет-

рическими приемами поэзии классицизма делалось невозможным. Вставал вопрос о поэтических средствах, адекватно передающих дух античной поэзии.

Во-вторых, древнее искусство воспринималось как героическое, обращение к которому является противоядием против «легкой поэзии», культивируемой карамзинистами.

Дивиться ль мужеству Филиппова нам сына?
Гомера он читал, поэзию любил! —

писал близкий к Мерзлякову, одаренный, но рано умерший и забытый впоследствии поэт З. Буринский.¹

В многочисленных идиллиях в геснеровском духе, создававшихся не только карамзинистами, но и такими их противниками, как, например, П. И. Голенищев-Кутузов, «пастухи», живущие в условном поэтическом мире, всецело поглощены любовью.

В интерпретации Мерзлякова или Гнедича идиллия должна была воспевать труд, «святую работу», следуя выражению Мерзлякова из перевода идиллии Феокрита «Рыбаки». Истолкованная таким образом, античная поэзия создавала или образ *идеального* гражданина, или образ *идеального* крестьянина. Переводы из античных поэтов и подражания им становились формой демократизации литературы, введения в нее изображения крестьянского труда в качестве поэтической, высокой темы.

Своеобразие художественного задания приводило к возникновению особого художественного стиля: труд рыбака или пахаря, предметы, составляющие его утварь, сама бедность его хижины не представляются поэту чем-то находящимся за рамками искусства. Рядом с высокими славянизмами, придающими повествованию общий архаический характер, мы встречаем в подобных произведениях бытовую, конкретную и просторечную лексику. Так, например, в переводе Мерзляковым идиллии Феокрита «Рыбаки» (1807) архаизированное «вкушали дар тихия ночи» стоит рядом со словом «солома», которое к тому же снабжено «высоким» эпитетом «хладная». Для классициста и для поэта школы Батюшкова, стремившегося создать в стихах особый стиль поэтического изящества и поэтому исходившего из требова-

¹ Студент З а х а р ь Б у р и н - с к и й. Поэзия, М., 1802, стр. 10.

ния единства условно-поэтической лексики,¹ невозможно было соединение в одном стихе разговорно-конкретного «нет даже собаки» и архаического «надежного стража ночного». В стихотворение вводится детальное описание орудий труда и домашней утвари рыбака:

Вокруг них лежали орудья их жизни печальной:
Ловитва для рыбы — кошница из гибкия вербы,
Садки для хранения, — обманчива пленника вольность;
И верши коварны, горою к стене взгроможденны,
Раскинуты сети, и невод, еще не готовый,
И длинные леса, и удочки с пищею смертной,
И верви, и весла, и лодка, увязшая в тине,
С изношенным платьем котомки и ветхие шляпы
Висели на гвóзде — вот всех их наследно именье.
Вот и все их богатство! — ни ложки, ни чаши домашней.²

Указанные особенности подбора лексики, равно как и сочетание «низкого» содержания с эпическим ритмическим построением, позволяли представить даже бедность крестьянина в опoэтизированной, героически-монументальном виде. Существование человека, изображаемое в переводах из античных авторов Гнедича, Мерзлякова и их единомышленников, — это и не бесконечное ликование и не страдания любви. Тема труда входит даже в описание празднества. Однако труд этот героизирован, эпически облагорожен. Это не реальная подневольная работа русского крепостного, а идеал свободного, хотя и тяжелого, требующего богатырских усилий труда:

В праздник великий покойся, земля! Ты покойся, орадай!
Плугу подъятому труд усладися тяжелый!
Узы ярма разрешите при ясях, наполненных житом:
Там да питается вол с увенчанной главою!
Всякое дело — дар богу! Ты, мать семейства, вы, дочери!
Да не коснутся к работе прядущие руки!³

Однако особенно значительным для решения проблемы народности был вопрос об изображении *русского* крестьянина. Литература XVIII века дала в этом смысле, как мы уже указывали, противопоставление

¹ Вопреки распространенному мнению, бытовые детали (например, «стул ветхий и треногий») в посланиях Батюшкова не несут реалистической функции, ибо входят в единую условную картину «поэтической бедности».

² А. Ф. Мерзляков, Стихотворения, Л., «Советский писатель», 1958, стр. 130.

³ Там же, стр. 174.

образа русского крестьянина как воплощения нравственной и физической «нормы» — реальной фигуре крепостного, «раба духом», по характеристике Радищева. Такого рода принцип обуславливал интерес к политико-философскому роману — прозаическому произведению, в котором различные эпизоды из современной автору и читателю действительности могли послужить основанием для общетеоретических размышлений автора. На русской почве типичным выражением этого жанра являлось «Путешествие из Петербурга в Москву».

Отказ от революционных выводов неизбежно отменял и характерную для философского романа двупланность, а тем самым разрушал основу этого жанра. Изображение современного угнетенного состояния народа было снято, однако сохранилось представление о том, что этот же современный автору и читателю народ нравственно здоровее, чище развращенного дворянского общества.¹ Задача изображения современного крестьянина в качестве положительной нормы требовала героизации. Это приводило к сближению двух указанных выше планов: в форму античной идиллии вносились черты русского быта, а описание жизни русского

¹ Мысль о том, что народ является наиболее здоровой — физически и морально — частью общества, развивалась также А. С. Кайсаровым. Крестьянство, «вследствие того, что оно выделяется чистотой нравов, обладает телом, не измененным роскошью и негой». «Народ наш крепок, силен, здоров, хотя и не настолько лишен человеческих слабостей, чтобы не болеть, но далеко не так часто и не такими заболеваниями, как дворяне» («Ученые записки ТГУ», вып. 63, Тарту, 1958, стр. 96). Эта же мысль интересно развивалась в анонимной брошюре «О болезнях богатых и светских людей» (СПб., печатано в Первом кадетском корпусе, 1805). Автор противопоставляет праздных и больных «светских людей» здоровому и трудолюбивому народу. «Ежели он (светский человек. — Ю. Л.) оставляет ломберный стол или какое-нибудь распутство, то для того только, дабы запереть себя в тесный и нечистый театр, где воздух заражен дымом шестисот свечей и дыханием трех тысяч человек, из коих по крайней мере три части больных. Из театра едет он на ужин, где каждое кушанье есть яд... После такового ужина, продолжающегося большую часть ночи, остальное время проводит он в игре или неводержанном обращении с женщинами». «Что причину сего множества нервных болезней, ипохондрических и истерических припадков, коими страждут светские люди?» — спрашивает автор. Интересен его вывод: «Люди, сделавшие единожды привычку к такой жизни, неспособны к исправлению... Общество же получает от сего распутства ту пользу, что оно сокращает жизнь таких людей, кои в тягость своим ближним» (стр. 6—7 и 9).

крестьянина осуществлялось приемами и средствами древнегреческой поэзии. Идиллия заменила философский роман. Мерзляков, подчеркивая насыщение современной идиллии реалистическими элементами, писал, что свойственное временам «равенства и беспечности» идеальное «состояние показалось тесным для поэтов. Они смешивали с ним иногда грубость *действительного*»¹ (курсив Мерзлякова). Аргументируя эту мысль, Мерзляков ссылаясь на Феокрита. Ссылкой на того же Феокрита, Фосса, Броннера и Гебеля ее повторил позже Гнедич, писавший: «Род поэзии идиллической более, нежели всякий другой, требует содержаний народных, отечественных». «Где, если не в России, более состояний людей, которых нравы, обычаи, жизнь так просты, так близки к природе? Это правда, русские пастухи не спорят в песнопении, как греческие; не дарят друг друга вазами и проч.; но от этого разве они не люди? Разве у них нет *своих* сердец, *своих* страстей? (Курсив Н. И. Гнедича. — Ю. Л.). А у других простолюдинов наших разве нет своей веры, поверий, нравов, костюмов, своего быта домашнего и своей, русской природы? Наши многообразные свадьбы, наши хороводы, разные игрища, праздники сельские, даже церковные суть живые идиллии народные, ожидающие своих поэтов. Как умел Феокрит всем этим пользоваться!»² Такое понимание идиллии отнюдь не означало (в отличие от пасторалей эпохи классицизма) изображения жизни крестьянина как безоблачного праздника. Труд и бедность, действительная жизнь крестьянина попадали в поле зрения поэзии, однако подвергались предварительной героизации, приобретали эпический характер. Действительная жизнь крестьянина, для того чтобы сделаться предметом искусства, должна была быть приподнята до высоких, монументальных образов.³ Белинский, с полным осно-

¹ «Эклоги П. Вергилия Марона, переведенные А. Ф. Мерзляковым», стр. X.

² Н. И. Гнедич. Стихотворения, Л., «Советский писатель», 1956, стр. 184. Ряд чрезвычайно интересных соображений о природе идиллии Гнедича см. в статье А. М. Кукулевича «Русская идиллия Н. И. Гнедича «Рыбаки». — «Ученые записки ЛГУ», серия филологическая, № 46, вып. 3, Л., 1939.

³ Не случайно особенно плодотворным такое понимание образа народа оказалось именно для скульптуры.

ванием противопоставив такое истолкование идиллии пастушеской поэзии XVIII века, отличительный характер которой составляла «приторная, сладенькая сентиментальность, растленное, гнилое чувство любви, лишенное всякой энергии», писал: «Быт и самый образ выражения действующих лиц в ней идеализированы, но не в смысле мнимоклассической идеализации, которая состояла в ходулях, белилах и румянах, а тем, что слишком проникнута лиризмом и веет духом древнеэллинской поэзии, несмотря на руссизм многих выражений». Далее Белинский делает интересное наблюдение, указывая, что «Пушкина «Гусар», «Будрыс и его сыновья» тоже суть идиллии». ¹

Элемент «идеализации» (вернее, «эпизации»), входивший, таким образом, в понятие искусства, был связан, с одной стороны, с представлением о том, что искусство отражает жизнь, а с другой — что жизнь эта берется не в ее искажениях и уродствах, а возводится до «нормального», «естественного» вида.

Реалистические элементы в этой художественной программе еще не осознавались самими авторами как нечто противостоящее эстетическим категориям классицизма. Эта двойственность и составляла реальное содержание того понимания природы искусства, которое утвердилось в недворянской критике от Мерзлякова до Надеждина. Мерзляков отмечал, что «предмет изящных искусств неограничен сам в себе; он ограничен только их (поэтов. — Ю. Л.) средствами: всеобщий образец, природа, представляется всем художникам». ² Но тот же критик писал, что сущность поэтического искусства — «подражание в гармоническом слоге — иногда верное, иногда *украшенное*» ³ (курсив мой. — Ю. Л.). Тезис этот дожил до 1830-х годов. Надеждин писал: «Искусство есть не что иное, как воспроизведение природы». Но он же утверждал, что искусство «представляет истину достолюбезную, облакает благолепием ее суровую наготу и дружит нас с нею». ⁴

¹ В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. V, М., изд. АН СССР, 1954, стр. 43.

² А. Мерзляков. Об изящной словесности, ее пользе, цели и правилах. — «Вестник Европы», М., 1813, XVIII, стр. 239—240.

³ Там же, стр. 244—245.

⁴ «Молва», 1833, № 8.

С этим связан свойственный критике тех лет от И. И. Мартынова до Н. И. Надеждина интерес к «высокому» в искусстве. Поэзию интересует жизнь, а не салонные забавы. Но эта жизнь должна браться в величественных ее проявлениях — пушкинская поэзия действительности критикам этого лагеря окажется недоступной.

Охарактеризованные особенности присущи были тому литературному направлению начала XIX века, которое выразилось какими-то сторонами в произведениях Востокова, переводах и песнях Мерзлякова и в конечном итоге обусловило столь значительное явление, как античная тема в творчестве Гнедича.

Однако в рамках недворянского лагеря этих лет развивалась другая, исторически еще более весомая тенденция, определившая отношение к проблеме народности в басенном творчестве И. А. Крылова. Имеющий длительную историю и продолжающийся по настоящее время спор о том, изменилось ли мировоззрение Крылова во вторую половину его творчества, не может быть решен без учета общих и исторически неизбежных перемен, имевших место в развитии недворянской мысли начала XIX века. Невозможно истолковывать «перемену» взглядов Крылова как отход от передовых, демократических идей в сторону официозной идеологии, но вместе с тем нельзя не видеть, что сохранение верности демократическим идеям в том виде, в котором они формировались до Французской буржуазной революции 1789—1793 годов, было невозможным. Важно было сохранить верность той традиции, которая восходила своими истоками к радищевскому мировоззрению, но, с неизбежностью отражая общий ход исторического развития, принимала новые, глубоко своеобразные формы.

Выше мы охарактеризовали некоторые особенности эстетической позиции писателей, продолжавших демократическую тенденцию XVIII века в новых условиях. Однако возможен был и другой путь.

Из всемирно-исторического опыта Французской буржуазной революции передовая, прогрессивная общественная мысль, отражающая интересы угнетенных, сделала выводы величайшего идеологического значения. Цикл новых общественных противоречий, открывшихся после революции, обуславливал растянувшийся на всю

первую треть XIX века переход от мышления метафизического к диалектическому, не противопоставлявшему теорию истории, а извлекавшему из самой действительности идеал иного человеческого существования. Этот сложный и длительный процесс, имевший в России черты яркого своеобразия, прошел ряд этапов, характеристика которых увела бы нас за рамки исследуемой темы. Следует только отметить, что на определенных — ранних — стадиях прогрессивного развития исторически неизбежным оказывалось стремление к отказу от критики действительности с целью глубоко объективного ее изучения. Процесс этот был глубоко внутренне противоречивым. Если приближение к действительности представляло бесспорное завоевание, то утрата непосредственных революционных выводов составляла несомненную слабость литературных деятелей изучаемого лагеря. Не случайно на этом этапе историческая инициатива переходит в руки более далеких от объективного познания действительности, но и более революционных романтиков — дворянских революционеров. Басенное творчество Ивана Андреевича Крылова стоит у истоков того процесса, который своими этапами имеет историзм Пушкина, «поэзию жизни действительной» Гоголя, теорию реализма Белинского и далее связан с наиболее прогрессивным направлением русской литературы и общественной мысли.

Крылов 90-х годов XVIII века с наибольшей полнотой выразил принципы своего творчества этих лет в сатирической журнальной прозе. Такие произведения, как «Почта духов» и «Каиб», типичны для жанра сатирического философского романа XVIII века и приближаются по структурным признакам к прозе Вольтера. Принцип сатиры Крылова-прозаика состоит в раскрытии нелепости, алогичности существующего порядка. Для этого автор рисует ряд сатирически заостренных картин, которые читатель должен «спроектировать» на отвлеченную норму человеческого общества. Частым приемом при этом является описание современного общества, наблюдаемого с позиций «естественного» сознания дикаря. В «Почте духов» такую роль выполняют состоящие в переписке духи. Автор не заботится о вероятности сюжетной связи эпизодов, имея в виду лишь истину сатирического обличения «извращенного общества». Воль-

тер, как писал Руссо, характеризуя в предисловии к «Новой Элоизе» подобный принцип построения, «оскорблял правдоподобие, не оскорбляя правды».¹

Первый шаг на пути преодоления метафизических теорий XVIII века состоял в скептическом недоверии к *любой* теории. В условиях, когда действительность первых послереволюционных лет показала «естественное» общество философов XVIII века в облике реальной Франции эпохи Директории, скептическое отношение к лозунгам демократического движения XVIII века могло означать не только защиту программы контрреволюции, но и «болезнь роста» нового, качественно более высокого этапа развития демократического сознания. Для настроений Крылова в этот переломный период весьма показательна «шутотрагедия» «Трумф». Ни в каком из предшествующих произведений Крылова отрицание всего порядка дворянской государственности, этических и эстетических представлений, порожденных этим порядком, не было столь беспощадным. Но вместе с тем именно в этом произведении, написанном в 1800 году, чувствуется и полное отсутствие какой бы то ни было системы положительных идеалов, которые автор противопоставлял бы гротескно изображаемому миру действительности. Характерно, что пьеса построена на отрицательном художественном решении, — представляя собой пародию, она свидетельствует о неприятии Крыловым *всех* направлений современной ему дворянской литературы, но не дает положительной авторской эстетической программы. В это же самое время Крылов отказывается от взгляда на русского крестьянина как «человека природы». В пьесе «Пирог» (1799—1801) мужик — не идеальный земледелец философской прозы XVIII века, но и не раб — персонаж, отмеченный печатью социального зла. Крылов отказывается вообще возводить образ крестьянина к какой-либо теоретической схеме. Народ для него — не отвлеченно-теоретическое, а исторически конкретное, вполне реальное понятие. Необходим был настоящий идейный переворот, чтобы крестьянин в демократической литературе мог быть изображен в тонах, столь далеких от любой формы идеализации.

¹ J.-J. Rousseau. Oeuvres complètes, т. VIII, MDCCCXXIV, стр. III,

В а н ь к а. ...Эй, мужичок, мужичок!
М у ж и к. Што-сте, боярин?
В а н ь к а. Чья это деревня?
М у ж и к. Што-мыл? Чья деревня-то? Барская.
В а н ь к а. Да какого барина?
М у ж и к. Какого-мыл барина-то? Князя Венецкого.
В а н ь к а. Так точно. Ведь это место называется Безрыбные пруды?
М у ж и к. Безрыбные пруды-мыл? Это-сте.
В а н ь к а. Не приезжали ли сюда господа: двое мужчин да три женщины?
М у ж и к. Не приезжали ли-мыл? Давно бродят по лесу.
В а н ь к а. Да подойди сюда, скажи мне толковитее.
М у ж и к. Толковитее-мыл? Прощай, боярин, мне неколи.¹

Новый период в решении проблемы народности начинается для Крылова с обращения к басням.

Своеобразие подхода Крылова к проблеме народа в период создания басен заключалось в том, что в качестве этической и эстетической нормы, в качестве той точки зрения, с которой писатель смотрит на жизнь, берутся не теоретические представления о народе в его, пользуясь выражением Белинского, «субстанциональности», а сознание реального русского крестьянина начала XIX века, не только в его положительных качествах, но и в его исторически обусловленной ограниченности.

В эпоху Радищева идеолог русского крепостного крестьянства — это мыслитель, который, наблюдая классовую борьбу народа, создавал революционную программу, теоретически оправдывающую практическую борьбу угнетенных. Однако, для того чтобы создать целостное революционное мировоззрение, необходимо было значительно возвыситься над реальным уровнем народного сознания. Революционная теория XVIII века являлась завершением длительных философских исканий и требовала такого интеллектуального уровня, который крепостному крестьянству XVIII века как классу был практически недоступен.

Разрыв между эксплуатируемым классом и его идеологом был в условиях докапиталистических формаций неизбежен. Он имел место даже в 60-е годы XIX века, когда, с одной стороны, значительно возрос уровень народного самосознания, а с другой — носители передо-

¹ И. А. Крылов. Полное собрание сочинений, т. II, М., Гослитиздат, 1946, стр. 379—380.

вого сознания и биографически и идейно приблизились к той угнетенной массе, интересы которой они отстаивали. Необходимо, однако, сразу же отметить, что неизбежная в допролетарский период в русских условиях «отдаленность» революционного идеолога от народа была качественно иного характера, чем тот разрыв, на который указывал В. И. Ленин, определяя дворянскую революционность. Если охарактеризованное нами явление вытекало из того, что крестьянские массы России в XVIII — первой половине XIX века не могли до конца преодолеть социальной пассивности, то декабристы были «страшно далеки от народа» по иной причине — потому что они, борясь за народные интересы, в то же время испытывали боязнь перед народной активностью. В первом случае речь шла о том, что народные массы, в силу исторической ограниченности своего сознания, не полностью постигали собственные интересы, во втором — о том, что передовая теория не полностью, в силу своей внутренней противоречивости, выражала эти народные интересы.

Демократический мыслитель типа А. Н. Радищева, резко возвышаясь над народной массой, глубоко понимал существеннейшие народные интересы, однако практический облик крестьянина в его бытовой конкретности, с массой исторически обусловленных своеобразных черт, зачастую был для него недоступен. Крылов, подходя к воспроизведению народного сознания, не отбирал из него наиболее героических, сильных сторон, а воспроизводил нравственный облик народа в его исторической противоречивости. Это значительно ограничивало писателя в его общетеоретических построениях, но зато с невиданной дотоле в русской литературе интенсивностью насыщало образ богатством конкретных черточек, исторически сложившихся оттенков народного сознания, приближало литературу к народу. Ф. Энгельс в письме Г. Шлютеру писал, что «для того, чтобы воздействовать на массы, она (литература. — Ю.Л.) должна отражать и предрассудки масс того времени».¹

Отказавшись от схематизации и героизации образа народа, принципиально не принимая попыток изображения русского крестьянина сквозь призму античных

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XXVII, стр. 468.

образов, Крылов смог достичь исключительной правдивости образа. Однако такая позиция имела и слабую сторону — образ народа утратил героичность. Ягненок в басне «Волк и Ягненок» (1808), Вол в «Море зверей» (1808) вызывают сочувствие как «бессильные», угнетаемые «сильными», «смирненные» — жертвы тех, кто «богаты иль когтем, иль зубком». Но сочувствие это окрашено жалостью. Даже Корни в «Листах и Корнях» (1811), проникнутые чувством собственного достоинства, — образ, лишенный боевого, героического начала («Красуйтесь в добрый час», — обращаются они к Листам). Метод Крылова принципиально исключал возможность раскрытия в характере народа диалектики действительного и возможного, «внешнего» и «субстанционального».

Вместе с тем, когда исторически сложилась ситуация, при которой народ *действительно* перед глазами Крылова выступил не только в качестве жертвы угнетения, но и как сила активная, героическая, решающая судьбы родины, именно Крылов нашел наиболее яркие и точные образы для отражения этого нового облика народа.

Басни, связанные с 1812 годом, отличаются от предшествующих торжественностью лексики, почти ораторской патетичностью речи:

Когда Смоленский Князь,
Противу дерзости искусством вооружась,
Вандалам новым сеть поставил
И на погибель им Москву оставил:
Тогда все жители, и малый и большой,
Часа не тратя, собралися
И вон из стен московских поднялися..

Если торжественность лексики создает совершенно новый облик повествователя — носителя народного «здорового толка», то одновременно меняется и облик воплощающих народные черты персонажей басни. Это уже не страдающие Ягненок или Вол, а действующие, вызывающие уважение, а не жалость Псари.

Бегут: иной с дубьем,
Иной с ружьем.

Не случайно именно басни, связанные с Отечественной войной 1812 года, принесли Крылову славу народного поэта.

Основным вопросом художественной системы басен Крылова является вопрос о языке. Развитие историзма как передовой формы сознания XIX века имело в России свои этапы. В разные периоды на первый план выдвигались разные проблемы. Постановка вопроса о языке в крыловском его истолковании была показательна для начального этапа этого процесса. Работы В. В. Виноградова и А. С. Орлова показали народно-разговорный характер языка басен Крылова. Интересный анализ дан в книге Н. Степанова «Мастерство Крылова». Представляется необходимым подчеркнуть только одну деталь: просторечия, разговорные и народно-поэтические обороты, идиомы и идиоматические фразеологические сочетания использовались и предшественниками Крылова и его современниками, порой даже более широко. Однако в творчестве этих поэтов перечисленные элементы выступали как нарочито подобранные. Писатель отбирал их для подтверждения своей априорно формулируемой концепции народного характера или для создания определенного стилистического колорита. В баснях Крылова характерные обороты русской речи перестали осмысляться как экзотика. Язык для Крылова — исторически сложившаяся данность. Своеобразие его стилистических средств отражает своеобразие исторического опыта народа. Именно через язык, вобравший в себя выкристаллизовавшееся в ходе истории сознание, народная точка зрения проникала в басни Крылова. В этом смысле любопытно сравнить с баснями Крылова такие произведения, как песни Мерзлякова. Сравнение это тем более показательно, что оба поэта принадлежали к недворянскому литературному лагерю и в своем творчестве опирались на общую традицию — демократическую идеологию XVIII века. Созданные в основном в первом десятилетии XIX века, песни Мерзлякова не только для Полевого и Надеждина, но, в лучших своих образцах, и для Белинского оставались примером народности. Н. И. Надеждин в рецензии на «Песни и романсы А. Мерзлякова» (1830) писал: «Их (песен. — Ю. Л.) существенная прелесть состоит в народности, коей они проникнуты, не той грубой простонародности, которая трется по постоянным дворам и подслушивает поговорки извозчиков; но народности чистой и возвышенной, вслушивающейся в биение

внутренней жизни, разлитой по всем жилам народного организма». И далее: «...Весьма понятно, почему песни Мерзлякова перешли немедленно в уста народные: они возвратились к своему началу».¹

Любопытные данные о принципах песенного творчества Мерзлякова дает сравнение некоторых из них с записями народных песен Д. Кашина, послужившими для поэта отправной точкой.²

Сравнение текстов позволяет сделать некоторые наблюдения. Мерзляков следует за народной песней прежде всего в воспроизведении характерно «фольклорных» примет стиля: он полностью воспроизводит ритмический рисунок «песен» Кашина (последнее связано было еще и с тем, что песни Мерзлякова часто писались непосредственно «на голос» популярных кашинских обработок и записей). Почти во всех случаях Мерзляков сохраняет зачин песни, дающий как бы определенную тональность, фольклорный колорит всему произведению. Порой он сознательно сгущает элементы «фольклорного стиля». Так, стих: «Со вздыханьца сердечку тяжело»³ — заменен с введением постоянного эпитета отчетливой народно-поэтической окраски: «С вздыханья белой груди тяжело!»⁴ Однако далеко не все в записи Кашина удовлетворяет Мерзлякова. Он явно сгущает общий печальный тон произведения, исходя из общетеоретических представлений о народной поэзии, выработанных демократической литературной мыслью. Мерзляков перерабатывает находившийся в его распоряжении конкретный эмпирический материал с тем, чтобы приблизить его к некоему нормативному представлению о фольклоре. Сам психологический облик центрального

¹ «Телескоп», 1831, № 5, стр. 88 и 89.

² Д. Кашин — знаток и собиратель народных песен, талантливый композитор. Происходил из крепостных. Собранные Кашиным песни были им изданы в трех частях в 1833—1834 годах, однако Мерзлякову — близкому другу Кашина (последний, как правило, был и автором мелодий на слова песен и романсов Мерзлякова) — записи эти были, бесспорно, известны задолго до их публикации. «Песни» Кашина, видимо, также представляют собой литературные обработки, однако Мерзляков воспринимал их как подлинные народные тексты.

³ «Русские народные песни, собранные и изданные для пения и фортепиано Даниилом Кашиным», т. II, М., 1834, стр. 134.

⁴ А. Ф. Мерзляков, Стихотворения, Л., «Советский писатель», 1956, стр. 58.

песенного образа изменяется с тем, чтобы приблизить его к идеалу человека, подчиняющегося лишь велениям сердца, — образу, возникшему в поэзии Мерзлякова без влияния творчества Шиллера, бурное увлечение которым он пережил в 1800—1803 годы. У Кашина:

Злые люди примечают и глядят,
Меня, девушку, ругают и бранят.
Я не слушала руганья ничьего,
Полюбила я дружочка своего.¹

У Мерзлякова:

Злые люди все украдкой глядят,
Меня, девушку, заочно все бранят,
Как же слушать пересудов мне людских?
Сердце любит, не спросясь людей чужих,
Сердце любит, не спросясь меня самой!²

Таким образом, Мерзляков в своих песнях, с одной стороны, стремился воссоздать поэтическую форму народной лирики, противопоставляя ее салонной поэзии карамзинистов, а с другой — не удовлетворялся тем реальным народным обликом, который отразился в этих песнях, «приподымал» его до уровня «идеального» народа, созданного теоретической мыслью поэта.

Крылов идет по другому пути. Стилистические элементы, которые воспринимались бы как нарочитые «фольклоризмы», в его поэтической системе не занимают сколько-нибудь значительного места. Его не привлекают *приемы* народного творчества как средство придать стихотворению оттенок народности. Зато *реальный уровень народного сознания*, нравственных идеалов народа вполне удовлетворяет Крылова, становится его собственной точкой зрения. Воплощение их Крылов находит в самой структуре народной речи, выражающей своеобразие народного мышления.

Позиция Крылова этих лет если и не отличалась радищевской революционностью, но зато представляла раннюю стадию того стремления найти идеал в действительности, сделать действительность объектом художественного произведения, которое составляет основу реалистического направления русской литературы XIX века.

¹ «Русские народные песни, собранные... Даниилом Кашиным», стр. 131.

² А. Ф. Мерзляков. Стихотворения, стр. 58—60.

В общем направлении развития русского реалистического искусства начала XIX века именно борьба за национальную конкретизацию художественного образа была первым шагом к преодолению «нормативности» передового искусства XVIII века. Решить эту задачу только теми средствами, которые, в силу исторических причин, были в распоряжении Крылова, оказалось невозможным. Воспроизведение народного языка, народного строя мысли насыщало произведение художественным материалом совершенно неслыханной дотоле конкретности, оказывая чрезвычайно благотворное воздействие на литературу в целом. Однако, чтобы решить проблему воссоздания в литературе национального характера — проблему, к решению которой подошел только Пушкин в михайловский период, — этого было недостаточно. Необходимо была сознательная, теоретическая постановка вопроса о принципах построения характера, нужна была общая концепция действительности, которая позволила бы построить образы и сюжет, а последнее, в свою очередь, предполагало большой жанр, позволяющий широко отразить современность. Оттачивание Крылова этих лет от теоретических обобщений составляло исторически необходимую черту, но это же не позволило ему до конца решить проблему отражения в литературе национального характера. Достаточно сравнить басенное творчество Крылова с такими литературными достижениями, как образ Татьяны Лариной, чтобы понять, что басня, рисуя те или иные весьма яркие и конкретные психологические черты, не создавала все же синтетического образа. Но вместе с тем именно басни Крылова явились первым шагом в литературе XIX века на пути движения к реализму Пушкина и Гоголя. Очень тонко место Крылова определил В. К. Кюхельбекер, называвший его в своем дневнике «первым поэтом России»: «Мы, то есть Грибоедов и я, и даже Пушкин, точно обязаны своим слогом (курсив Кюхельбекера. — Ю. Л.) Крылову, но слог — только форма, роды же, в которых мы писали, все же гораздо выше басни, а это не безделица».¹

Таким образом, изображение народа в «Путешествии

¹ В. К. Кюхельбекер, Дневник, Л., изд. «Прибой», 1929, стр. 304.

из Петербурга в Москву» основано было на широкой социальной концепции. Однако в этой исполненной большой общественной правды картине изображение индивидуализированного образа реального крестьянина и его подлинной психологии оставалось еще делом будущего. Басни Крылова не могли равняться по теоретической глубине и революционному пафосу с прозой Радищева, но зато они завоевывали литературе большой мир живых психологических черт.

От конкретного изображения реальных сторон народного сознания открывался путь к обобщенному пушкинскому пониманию народности, синтезирующему и жизненный материал и широкие философские обобщения. Соотношение народности у Крылова и Пушкина глубоко охарактеризовал В. Г. Белинский: «Поэзия Крылова, и в эстетическом и в национальном смысле, должна относиться к поэзии Пушкина, как река, пусть даже самая огромная, относится к морю, принимающему в свое необъятное лоно тысячи рек, и больших и малых. В поэзии Пушкина отразилась вся Русь, со всеми ее субстанциональными стихиями, все разнообразие, вся многосторонность ее национального духа. Крылов выразил — и, надо сказать, выразил широко и полно — одну только сторону русского духа — его здравый, практический смысл, его опытную житейскую мудрость, его простодушную и злую иронию».¹

* * *

Известный интерес для изучения проблемы народности в начале XIX века представляет рассмотрение той крайне правой группировки, которая связывалась с именами А. С. Шишкова и его приверженцев. Общие принципы этого направления и его историко-литературное значение неоднократно освещались в литературе. Это дает нам возможность, не рассматривая всей проблемы в целом, остановиться лишь на некоторых ее аспектах.

Прежде всего следует отметить своеобразное явление: хотя реакционный смысл общей позиции группы

¹ В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. VIII, 1955, стр. 571.

Шишкова не вызывает сомнений, отношение к нему передовых современников вовсе не было односторонне-отрицательным. Не говоря уже о позиции таких литераторов-декабристов, как Катенин и Кюхельбекер,¹ даже такой «правоверный» карамзинист, как К. Н. Батюшков, в плане истории русской литературы записал: «А. С. Шишков. Он прав — он виноват». Н. Тургенев в 1809 году писал о Шишкове: «Он человек умный. Рассуждение его о старом и новом слоге, право, очень хорошо».²

Сторонники А. С. Шишкова являлись продолжателями «традиционалистов» XVIII века (полагаем, что этот термин более отражает сущность, чем «архаисты», поскольку позиция в вопросах языка, при всей значительности этой проблемы, не может быть положена в основу классификации). Вместо нормативных идеалов и критики действительности они выдвигали обожествленные обычаи, теоретическому мышлению противопоставляли тот метод, «*établir toujours le droit par le fait*», значение которого, по словам Руссо, — в оправдании тиранов. В этом смысле острейшие позиции шишковистов было направлено не столько против сторонников Карамзина, сколько против «разрушительной» философии XVIII века. В обнаженно-четкой форме мысль о противопоставлении философским теориям обрядов и обычаев векового уклада была высказана С. Глинкой в программном вступлении к журналу «Русский вестник»: «Философы осьмюнадесять столетия никогда не заботились о доказательствах: они писали политические, исторические, нравоучительные, метафизические романы; порицали все, все отвергали, обещевали *беспредельное просвещение, неограниченную свободу*... словом, они желали преобразить все *по-своему*... Мы видели, к чему привели сии романы, сии мечты воспаленного и тщеславного воображения! И так, замечая нынешние нравы, воспитания, обычаи, моды и проч., мы будем противопоставлять им не вымыслы романические, но нравы и добродетели

¹ Кюхельбекер в дневнике писал, что «служит» «в дружине славы под знаменем Шишкова, Катенина, Грибоедова, Шихматова» («Дневник», стр. 88). Ср. его же «Обозрение российской словесности 1824 года. Литературные портфели», П., изд. «Атеней», 1923, стр. 74—75.

² «Архив братьев Тургеневых», т. I, вып. 1, СПб., 1911, стр. 361.

праотцев наших»¹ (курсив мой. — Ю. Л.). Соблюдая это обещание, С. Глинка систематически публиковал рассуждения вроде того, что «поселяне Овернские» «1100 лет хранят нравы, наследство и обычаи свои», а «взяемские граждане и по сие время соблюдают обычаи и нравы праотческие».² Подобные же убеждения заставили Растопчина в брошюре «Плуг и соха» (М., 1806) доказывать превосходство сохи (показательно, что собственное хозяйство Растопчин рационализировал с помощью заграничного инвентаря и заграничных специалистов). Красноречив эпитафия: «Отцы наши не глупей нас были».³ Однако, как мы уже отмечали, стремление утвердить традицию отнюдь не означало сближения с реальной жизнью, поскольку практически утверждалась даже не существующая русская действительность, а некая произвольная утопическая картина былой гармонии.

Бывало, в прежни веки
Любили правду человеки,
Никто из них не лгал,
Всяк добродетель знал, —

писал А. С. Шишков.⁴ Даже историческая тематика не вызывала у писателя потребности обращения к подлинным историческим источникам. С. Глинка в очерке «Взор на Москву» следующим образом изображал допетровскую Красную площадь: «Тут почтенные мужи по летам своим и опытности похваляли молодых людей — усердных обществу и отечеству, поощряли других к исполнению должностей отеческими увещаниями... Тут замечали достоинства, ум всякого звания людей; тут порицали явно и гласно тех, которые не рачили о чести и имени своих предков».⁵

¹ «Русский вестник» на 1808 год, издаваемый Сергеем Глинкой, М., 1808, № 1, стр. 6.

² Там же, стр. 89—90.

³ Возражая Растопчину, идею технического прогресса в сельском хозяйстве защищал политически вполне благонамеренный автор анонимной брошюры «Мнение о плуге и сохе», СПб., 1807; на стр. 23 он писал: «Неужели мы, русские... захожим пресмыкаться во мраке невежества... Не таковой пример оставили нам предки наши. Искони века возгнушались они варварскими обычаями и, полюбив соху, полюбили просвещение...»

⁴ А. С. Шишков. Старое и новое время. — «Друг просвещения», 1804, № 12, стр. 226.

⁵ «Русский вестник», 1808, № 1, стр. 24—25.

Той же печатью антиисторизма отмечены лингвистические построения Шишкова. Хотя последний и стремился подкрепить их авторитетом Ломоносова, но воззрения их были глубоко отличны по существу. Сторонник опытной науки, Ломоносов и свои лингвистические воззрения строил на огромном фактическом языковом материале. Типично дворянский дилетантизм Шишкова был Ломоносову глубоко чужд. Тонкое знание фактов истории языка позволило Ломоносову в 1764 году противопоставить древнерусский язык старославянскому: «Речи, в российских летописях находящіяся, разнятся от древнего моравского языка, на которой переведено священное писание. Ибо тогда российский диалект был другой, как видно из древних речений в Несторе, каковыя находятся в договорах первых российских князей с царями греческими. Тому же подобны законы Ярославовы, «Правда Русская» называемые; также прочие исторические книги, в которых употребительные речи в библии и других церковных книгах, коих премного, по большей части не находятся...»¹

Ломоносов стремился «отвратить» «дикие и странные слова, нелепости, входящие к нам из чужих языков», но антиисторический пуризм ему был чужд: «Ни о едином языке утвердить невозможно, чтобы он с начала стоял сам собою, без всякого примешения».² В своем стремлении любой ценой гальванизировать старину Шишков был гораздо более антиисторичным, чем представители демократической мысли XVIII века. Не понял он и сущности воззрений Ломоносова, да и текст произведений последнего прочел невнимательно. Иначе он не стал бы рекомендовать к употреблению те самые слова, на безнадежную устарелость которых указывал еще автор «Предисловія о пользе книг церковных». Ломоносов писал: «Неупотребительные и весьма обветшалые (слова. — Ю. Л.) отсюда выключаются, как: *обаваю, рясны, овогда, свене*»³ (курсив мой. — Ю. Л.). Между тем Шишков в доносительном тоне

¹ П. С. Билярский. Материалы для биографии Ломоносова, СПб., 1865, стр. 704.

² М. В. Ломоносов. Полное собрание сочинений, т. 6, М. — Л., изд. АН СССР, 1952, стр. 174.

³ Там же, т. 7, стр. 588.

говорил о писателях, для которых «беда», «кто в писаниях своих употребляет слова: брашно, требищ, *рясна*»¹ (курсив мой. — Ю. Л.), намекая на революционные симпатии тех, кто отвергает «все издревле употребительные слова и выражения».² Не случайно разоблачение научной несостоятельности построений Шишкова пришло не из лагеря карамзинистов, столь же дилетантски решавших вопросы языка, а со стороны подлинных продолжателей ломоносовской традиции, ученых-профессионалов, принадлежавших к недворянскому лагерю общественной мысли начала XIX века, — Востокова и Мерзлякова. Если карамзинисты, поверив на слово Шишкову, боролись с ним как с продолжателем «педантской» науки XVIII века, традиции Ломоносова, то ученых-профессионалов обмануть было нелегко. Мерзляков писал: «Часто погрешают и некоторые страстные любители языка славянского. Что встречаем в их сочинениях? Слова обветшалые славянские вместе с простыми и общенародными, и притом в оборотах чужестранных, или сряду старой язык славянской, от которого мы уже отвыкли. Возьмите оды и похвальные слова Ломоносова и сравните их с некоторыми нынешними стихотворными словено-российскими сочинениями. Читая первого, я не могу остановиться ни на одном слове: все мои родные, все кстати, все прекрасны; читая других, останавливаюсь на каждом слове, как на чужом. Согласитесь, М. Г., что Ломоносов также встречал в книгах церковных: «толща», «влаются», «исподнейшие», «дрожди» и тому подобное, но он не употреблял их. Как же мог другой, спустя 60 лет, надеяться пленить сими словами публику, еще более в продолжение сего времени удаленную от славянского».³

Специфика полемической позиции Шишкова состояла в том, что он демонстративно приравнивал умеренно-либеральные воззрения карамзинистов то к демократической философии XVIII века, то к демократической

¹ Собрание сочинений и переводов адм. Шишкова, ч. II, СПб., 1824, стр. 28.

² «Записки, мнения и переписка адмирала А. С. Шишкова», Берлин, 1870, ч. II, стр. 4.

³ А. Ф. Мерзляков. Рассуждение о российской словесности в нынешнем ее состоянии. — «Труды общества любителей российской словесности», М., 1812, ч. I, стр. 72.

же публицистике эпохи революции. Подобная тактика не была случайной: с одной стороны, она ставила в чрезвычайно невыгодное положение непосредственных противников Шишкова и придавала всей полемике будущих «беседчиков» специфический доносительный оттенок. С другой, смешивая эти глубоко отличные точки зрения, Шишков мог приписывать демократической идеологии мнимые слабые стороны и тем самым дискредитировать последнюю. Так, например, главный из выдвигаемых шишковистами упреков — невнимание к национальной специфике культуры — был оправдан применительно к сторонникам субъективистской эстетики, но не имел почвы, когда речь шла о демократическом лагере. Как мы уже видели, для последнего преодоление рационалистической абстрактности, рассмотрения человека как некоей единой вненациональной сущности началось еще в конце XVIII века и особенно интенсивно протекало именно в интересующую нас эпоху.

Для современников, утративших те безошибочные критерии ориентировки в общественно-литературной борьбе, которые давало революционное мировоззрение, возникала возможность смешения дворянского традиционализма и того направления демократической мысли, которое шло по пути движения к историзму. Этому способствовало то, что Шишков в борьбе с демократическим представлением о единой внесловной и общечеловеческой сущности природы человека порой близко подходил к пониманию неповторимого своеобразия национального характера. Как мы видели, одной из принципиальных основ басенного стиля Крылова являлось воспроизведение непереводаемого на другие языки своеобразия живой русской речи как средства проникновения в исторически сложившийся, своеобразный психологический уклад народа. В. Г. Белинский говорил о составляющих основу басенного стиля Крылова «оригинально-русских, не передаваемых ни на какой язык в мире образах и оборотах». Такой подход к языку имел для Крылова принципиальный смысл. Поэтому для понимания реальных фактов литературной борьбы нельзя забывать того, что Шишков, борясь с нововведениями Карамзина и отстаивая традиционное словоупотребление, выдвинул аргумент «идиоматичности» языка, своеобразия его фразеологических систем и практиче-

ской невозможности дословного перевода с одного языка на другой.

Шишков писал: «Происхождение слов, или сцепление понятий, у каждого народа делается своим особливим образом». ¹ Приведя для доказательства идиоматическое выражение «старый хрен» (сравниваемое с французским «vieux gaifort», которое «означает токмо самую вещь, а в метафизическом смысле никакого круга знаменования не имеет»), Шишков заключает: «Каждый народ имеет свой состав речей и свое сцепление понятий». ²

Необходимо иметь в виду, что совпадение позиций Крылова и Шишкова имело чисто внешний характер: Крылов принимал в качестве нормы реальный психологический облик народа, который включал не только черты отсталости, но и глубокую ненависть к тунеядцам, барству во всех его проявлениях; Шишков брал из воззрений народа только слабую, рожденную рабством сторону и провозглашал ее не только основной, но и единственной в народном характере. По существу, его образ народа был тоже «сконструирован», но по реакционным трафаретам.

В сложной и нечеткой картине идейной жизни первого десятилетия это частичное сближение в сочетании с общей борьбой против карамзинистов (хотя борьба эта объективно велась с глубоко отличных позиций) порождало возможность сотрудничества. Так, Крылов, конечно, не разделяя коренных принципов «Беседы», был довольно деятельным ее сотрудником. ³ Напряженный интерес к проблеме народности определил и сложность приведенных выше оценок деятельности Шишкова рядом декабристов.

* * *

Значение, которое приобретала идея народности в литературной борьбе первого десятилетия XIX века, не могло не повлиять на позицию карамзинистов. Карамзинская эстетика строилась на тех принципах субъ-

¹ «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка», СПб., 1803, стр. 36.

² Там же, стр. 40.

³ См. документальные данные в книге В. А. Десницкого «На литературные темы», кн. 2, Л., 1936, стр. 199.

ективизма, которые получили философское оформление в русской литературной жизни еще в 80-х годах XVIII века и победили в творчестве Карамзина в середине 90-х годов. Покоящиеся на чувственном опыте представления человека — субъективны, действительность — «китайские тени моего воображения», «поэт — искусный лжец», предметом изображения оказывается не мир реальных фактов, а смена душевных переживаний. При таком понимании взаимоотношений человека и окружающего мира определяющее влияние второго на характер первого принципиально отрицалось. Говоря о сторонниках субъективизма, В. И. Ленин писал: «Эти философы идут от психического, или Я, к физическому, или среде, как от центрального члена к противочлену».¹ Сформулированная еще А. М. Кутузовым в письмах к И. П. Тургеневу мысль о том, что не среда влияет на человека, а человеческое «я» «творит» среду, приводила к представлению о «вечных», врожденных страстях как единственной основе характера. Вопрос о национальной или социальной конкретизации снимался. Еще в 1786 году Карамзин издал прозаический перевод поэмы Галлера «О происхождении зла», в котором читаем: «Ни время, ни страна, ни обыкновение не могут переменить натуру: источник течет везде, а токмо единый вид течения применяется».² А в 1803 году в «Вестнике Европы» он поместил специальную заметку «О человеке во всех землях и климатах» (перевод с французского), главным тезисом которой было то, что во всех климатах и странах «страсти под разными личинами производят такие же действия, как и между нами».³

Вопрос о народности, таким образом, оказывается тесно связанным с преодолением субъективизма художественного метода. Изучение литературной программы карамзинистов позволяет обнаружить целую цепь попыток творчески ответить на ведущую потребность художественной жизни эпохи. Однако каждый раз стремление окрасить произведение в национально-самобытные тона приходило в противоречие с самыми основными

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 14, стр. 133.

² «О происхождении зла», перевод с немецкого, М., в типографии компании типографической, 1786, стр. 59.

³ «Вестник Европы», 1803, № 21—22, стр. 21.

принципами художественного метода писателей этой группы.

Органическим результатом идей непознаваемости и «невыразимости» действительности в литературе явилось увлечение лирическими жанрами. Мир авторской души делается единственным содержанием произведения, исчезает сюжетность, эпические, описательные элементы. С этим связано было господство таких жанров, как элегия, бессюжетное лирическое стихотворение, по содержанию приближающееся к дневниковой записи, а также характерное для карамзинистов увлечение поэтическими «безделками» — результат взгляда на поэзию как на своеобразную игру («Мой друг, сущность бедна, Играй в душе своей мечтами»).

Одна из наиболее серьезных попыток решения поэтами карамзинской школы вопроса народности связана с балладами. Обращение Жуковского к этому жанру в самом деле позволяло создать произведение большого плана с сильным развитием повествовательного элемента за счет лирического. Кроме того, существовавшая уже западноевропейская литературная традиция прочно связывала балладу с фольклором, тематикой и стилем сюжетной народной песни. Однако баллады Жуковского не смогли решить проблемы народности. Обращение к фольклору, реальному миру народной жизни, народных обычаев и поверий означало выход за рамки авторского «я», обращение к объекту, что было невозможно без разрыва со всей идейно-стилистической системой поэзии карамзинистов. Мир, воспроизводимый в балладах Жуковского, — это не мир народной поэзии, создаваемый сознанием народа, мир вполне объективный и от произвола автора не зависящий. Поэт творит в своей душе особый поэтический мир. С этим связано равнодушие Жуковского к стилистической манере оригинала. Заимствуя лишь сюжетную схему, которая воспринимается как произвольная выдумка, игра авторской фантазии, Жуковский неизменно переводит повествование в тональность своей стилистической системы. Именно это имел в виду Грибоедов, осуждая Жуковского за то, что в его балладах «натуры ни на волос». Упрек в отсутствии «натуры» связан не с фантастическим сюжетом («я не знал до сих пор, что чудесное в поэзии требует извинения», — писал Грибоедов в той

же рецензии), да и вообще не с сюжетом. Ведь и баллада Катенина, которую Грибоедов противопоставляет Жуковскому, писана на тот же сюжет. «Простонародный» язык «Ольги» долженствовал отделить повествование от авторской субъективности, заставить воспринимать фантастический сюжет как создание народной мысли. Именно это отсутствие элемента объективности, в повествовании и побуждало Катенина и Грибоедова отрицать народность баллад Жуковского. «Людмила» (1808) была снабжена подзаголовком «русская баллада». В «Светлане» (1811) Жуковский пошел дальше: он ввел описание народных обрядов и поверий, придавших повествованию ярко выраженный «русский» колорит. Однако в этой же балладе он подчеркнул ведущий принцип своих «сюжетных» стихотворений. Вся цепь событий, рассказанных в произведении, оказывается вымыслом, забавой и начисто снимается лирической и иронической одновременно авторской концовкой.

Однако проблема народности для карамзинистов имела не только литературный, но и политический смысл.

Рассматривая каждого отдельного человека как существо, отгороженное своими чувствами от всей окружающей действительности, исходящее лишь из собственных интересов и поэтому неизбежно антиобщественное, карамзинизм не был, однако, последователен и самого факта существования рядом с моим «я» других человеческих единиц сомнению не подвергал.

В период после 1801 года тема общественного устройства, путей согласования противоречивых устремлений отдельных «эгоистических» личностей в едином государственном организме становится для Карамзина центральной.

Выход он усматривает в усилении государственной власти, спасающей «всех от каждого». Если сам Карамзин делал из предпосылок своей системы консервативные политические выводы (в дальнейшем он оказался под сильным влиянием реакционных идей «традиционализма»), то позиция младшего поколения карамзинистов в эти годы была иной:

Поскольку внешние обстоятельства считались не влияющими на человека и в жизни его существенной роли не играющими, стремление человека к удовлетворению материальных нужд мало интересовало теорети-

ков этого лагеря. Народ представлялся им не социальной группой, объединенной общими материальными интересами, а механическим конгломератом разрозненных человеческих единиц.¹

Реальное общественное деление и реальная общественная борьба (крестьяне — помещики) объявлялись лишь проявлением столкновений отдельных человеческих личностей. Проблема *социальной* свободы для *народа* в результате такого подхода заменялась требованием *политической* свободы для *личности*. Смысл подобных построений станет ясен, если обратиться к конкретным политическим лозунгам.

Первые годы формирования дворянской революционности, годы, когда само понятие «революционность» скорее существует как тенденция, а не как политическая реальность, тем не менее рисуют нам уже черты, позволяющие проложить грань между возникающим декабризмом и дворянским либерализмом. Будущие декабристы в этот период еще верят в освободительные намерения правительства, не понимают единства интересов царя и помещиков, но начинают осознавать противоположность во многом интересов помещиков и крестьян. Выдвигая на первый план задачу социального освобождения народа — уничтожения крепостного права, — они понимают, что это вызовет сопротивление помещиков. Отсюда стремление не расширять политических прав дворянства, не вводить конституцию до освобождения царем крестьян. Только на следующем этапе подлинный облик царя (вначале лишь конкретного царя — Александра I) станет ясен, и требование республики сольется с лозунгом освобождения крестьян.

Для дворянских же либералов в те годы свойствен был другой ход мысли: общество — собрание «единственников». Главное зло — не социальный гнет, а врожденный

¹ Против такого взгляда протестовали еще Радищев — Ушаков: «Народ есть общество людей, соединившихся для снискания своих выгод... О сем иные сомневаются, почитая народ собранием единственников. Но оно представляет нравственную особу, общим понятием и хотением одаренную...» (А. Н. Радищев. Полное собрание сочинений, т. I, 1938, стр. 188). Термин «нравственная особа» Радищев нашел у Руссо, называвшего общество «нравственной особой» (*une personne morale*), жизнь которой заключается в единстве членов» (J.-J. Rousseau, *Oeuvres complètes*, т. VI, стр. 40).

эгоизм. Следовательно, главная задача — законодательно обеспечить права человека от эгоистического вмешательства других людей. А поскольку царь — тоже человек и, следовательно, тоже эгоистичен и «страстен», то надо законодательно точно ограничить круг его прав так же, как и прав других членов общества. Практически это означало расширение прав дворянства, введение конституционной монархии при сохранении крепостного права. Вместо требования немедленной ликвидации последнего выдвигался лозунг «просвещения» народа как подготовительной ступени к его освобождению.

Как тесно конституционные¹ настроения переплетались у молодых карамзинистов с требованием народности в литературе, свидетельствует отзыв Александра Тургенева об «Истории Государства Российского» Карамзина. Сообщая в письме, что «вчера Карамзин читал» «Покорение Новгорода и еще предисловие», он прежде всего подчеркивает народность этого произведения: «Его историю ни с какою сравнить нельзя, потому что он приноровил ее к России, то есть она излилась из материалов и источников, совершенно свой, особенный, национальный характер имеющих». И далее: Иван IV — «истинно Грозный, тиран, какого никогда ни один народ не имел... представлен нам с величайшею верностию и точно русским, а не римским тираном». Но еще более любопытна политическая оценка произведения: «Не только это будет истинное начало нашей литературы, но история его послужит нам краеугольным камнем для православия, народного воспитания, монархического чувствования и, бог даст, *русской возможной конституции* (курсив мой. — Ю. Л.). ...Мы узнаем, что мы были, как переходили до настоящего status quo и чем мы можем быть, не прибегая к насильственным преобразованиям».²

* * *

Интерес к народности сыграл совершенно особую роль в истории формирования литературной программы дворянских революционеров.

¹ Политические и литературные позиции Н. М. Карамзина и «карамзинистов» в это время заметно отличались.

² Рукописное собр. ИРЛИ АН СССР (Пушкинский дом), Архив бр. Тургеневых, № 124, л. 272.

Декабризм как своеобразное явление в истории русской общественной мысли возникает в период после Отечественной войны 1812 года. Однако определенные черты этого мировоззрения начали складываться уже в предшествующий период. Идеология декабризма отличалась большой сложностью. Характеристика В. И. Лениным деятелей первого этапа русского освободительного движения как «дворянских революционеров», бесспорно, имеет в виду не только чисто биографические обстоятельства — сословную принадлежность основной массы членов тайных обществ. Необходимо не забывать о таких характерных чертах их мировоззрения, как боязнь революционной деятельности народа, политический романтизм, переоценка роли активной личности, меняющей по своему произволу ход истории, стремление в поэзии сосредоточить внимание не на действительности, а на образе поэта. Все это в известной степени сближало воззрения декабристов с идеями дворянских либералов начала XIX века.¹

Однако программа первого поколения русских революционеров включала в себя и другую сторону. В. И. Ленин, характеризуя декабристов, отметил, что «они были заражены соприкосновением с демократическими идеями Европы во время наполеоновских войн». ² «Заражение» передовой части дворянства демократическими идеями — длительный процесс, который был подготовлен задолго до заграничных походов и не закончился после их завершения. Представление о природном равенстве людей, требование уничтожения рабства, идея народности в художественном творчестве — весь этот поток теоретических представлений, порожденных антифеодальной борьбой в России и Западной Европе, врывался в сознание передовой дворянской интеллигенции, вступая в борьбу с социальной основой ее мировоззрения.

Шаг за шагом, этап за этапом развитие декабристской мысли позволяет проследить постоянную борьбу и постепенное усиление демократических идей и одновре-

¹ Ср. высказывание П. А. Вяземского: «Народ в истории то же, что хоры в древней греческой трагедии; действие и содержание сосредоточиваются в действующих лицах, которые возвышаются над народом и господствуют над ним...» (П. А. Вяземский. Старая записная книжка, Л., 1929, стр. 126).

² В. И. Ленин. Сочинения, т. 23, стр. 237.

менно ослабление влияний идей дворянского либерализма. Это сложное, противоречивое единство, включающее борьбу указанных элементов, и составляет специфику дворянской революционности. Вполне естественно, что каждый новый этап, дающий качественно новое соотношение этих противоречивых элементов мировоззрения, порождал свои программные установки, приемы тактики и организационные формы. Он выдвигал как своеобразные, выражающие его сущность художественные принципы, так и типичных политических и литературных руководителей. В первое десятилетие XIX века мы можем отметить лишь первые признаки накопления внутри дворянского мировоззрения элементов демократизма. Одним из ранних свидетельств начала этого процесса явилось критическое отношение к идеям дворянского либерализма — предвестие будущей революционности. В литературе оно проявилось как критика Карамзинизма. Причем главный упрек, который выдвигали ранние предтечи декабристской критики, — упрек, который мы потом на разных этапах развития услышим от Катенина, Грибоедова, Рылеева, Бестужева, Кюхельбекера, Пушкина, — состоял в отсутствии народности.

Уже в самом начале XIX века мы можем отметить группу передовых писателей и литературных деятелей, проделавших быструю эволюцию от преклонения перед Карамзиным до его критики. Таков блестяще одаренный и до сих пор еще мало оцененный, рано умерший Андрей Иванович Тургенев. В 1790-е годы он — убежденный сторонник творчества Карамзина, любимое его произведение — «Цветок на гроб моего Агатона». В собственных сочинениях этих лет (они дошли до нас в черновых набросках) он отстаивает типично карамзинистские идеи субъективности представлений об истине и счастье, необходимости изменить не реальный мир, а наши о нем представления.

1799—1801-е годы были отмечены в его дневниках и письмах подъемом тираноборческих настроений. Последнее обстоятельство не случайно: идея убийства Павла, устранения ненавистного режима реакционной диктатуры зрела не только в умах верхушки придворных сановников — скорее последнее было преломленным откликом на широкие настроения свободомыслящей дворянской интеллигенции. Так, А. Ф. Воейков произносит

в 1801 году в «Дружеском литературном обществе» речи, которые иначе как призыв к убийству тирана нельзя расценивать. Он же переводит «Смерть Цезаря» Вольтера — произведение, чтение которого в кружке Каховских прямо сопровождалось призывами к убийству Павла. Видимо, под влиянием таких же настроений «Юлий Цезарь» Шекспира делается любимой пьесой Я. А. Галинковского.

Порыв к борьбе против деспотизма, стремление к политической активности выводили Андрея Тургенева за пределы узко литературных занятий. Карамзинские (а Карамзин в эти годы для него в первую очередь — автор произведений, опубликованных в альманахах «Аглая») призывы устроить «тихий кров За мрачной сению лесов», играть «в душе своей мечтами» не могли его уже удовлетворить. Демократические идеи философов и публицистов XVIII века с их материалистической моралью, проповедью правильно понятого интереса как основы общества, отрицанием религии, реалистическими тенденциями в эстетике ему были недоступны. Зато органично слилось с его собственными умонастроениями характерное для Шиллера соединение элементов демократизма с идеалистической моралью, проповедь природного равенства людей, демократический идеал сильного, действующего, гармонического человека, ненависть к поповщине, с одной стороны, и стремление к перенесению конфликтов в этический план — с другой. Пламенное увлечение Шиллером — характерная черта идейного развития Андрея Тургенева и его друга Андрея Кайсарова в эти годы. Однако и интерес к творчеству Шиллера как идеала поэта-борца не был для друзей конечной точкой творческой эволюции. Следующий этап связан с появлением идеи народности как ведущего литературного принципа. Андрея Тургенева эти размышления приведут к увлечению Шекспиром, а для Андрея Кайсарова послужат исходной точкой при изучении фольклора, истории России, культуры славянских народов¹ и отразятся в диссертации «О необходимости освобождения рабов в России».

¹ В данном случае речь идет не о часто упоминаемой в литературе, но менее интересной «Мифологии» Кайсарова, а о его трудах, оставшихся в рукописях.

Именно в начале этого периода Андрей Тургенев и Андрей Кайсаров осознают враждебность собственной литературной позиции творческим принципам карамзинизма. В речи, произнесенной в конце марта 1801 года на заседании «Дружеского литературного общества», Андрей Тургенев подверг резкому суду всю современную ему русскую литературу и в первую очередь карамзинское ее направление. Литература должна отражать «дух народа», «но что можешь ты узнать о русском народе, читая Ломоносова, Сумарокова, Державина, Хераскова, Карамзина?»¹ Главный упрек, который адресует Андрей Тургенев Карамзину, — это отсутствие важного, «высокого» содержания и «подражательность», отсутствие народности: «Он слишком склонил нас к мягкости и разнежности». «Скажу откровенно: он более вреден, нежели полезен нашей литературе... Он вреден потому еще более, что пишет в своем роде прекрасно; пусть бы русские продолжали писать хуже и не так интересно, только бы занимались они важнейшими предметами, писали бы оригинальнее, важнее, не столько применялись к мелочным родам...»² Средством преобразования литературы, которое должно возратить ей «всю оригинальность, всю силу (énergie) русского духа», Андрей Тургенев считает обращение к народным песням. «Теперь только в одних сказках и песнях находим мы остатки русской литературы. В сих-то драгоценных остатках, а особливо в песнях, находим мы и чувствуем еще характер нашего народа. Они так сильны, так выразительны, в веселом ли то или в печальном роде, что над всяким непременно должны произвести свое действие. В большей части из них, особливо в печальных, встречается такая пленяющая унылость, такие красоты чувства, которых тщетно стали бы искать мы в новейших подражательных произведениях нашей литературы».³

Другой путь — в обращении к темам из русской истории, к героическим, воспламеняющим образцам добродетелей, свободолюбия и патриотизма.

¹ А. Фомин. Андрей Иванович Тургенев и Андрей Сергеевич Кайсаров (отдельный оттиск из журнала «Русский библиофил», 1912, январь, стр. 24).

² Там же, стр. 27.

³ Там же, стр. 24—27.

Ярко выраженное политическое свободолобие, требование народности и самобытности в литературе, критика карамзинизма — все это черты, свидетельствующие об определенных элементах демократизма в мировоззрении Андрея Тургенева. Показателен в этом отношении и творческий путь Андрея Кайсарова.

Позиция Андрея Тургенева и его единомышленников не была случайной. Аналогичные тенденции свойственны были определенной группе литераторов, деятельность многих из которых в настоящее время незаслуженно забыта. Большой интерес представляет в этом отношении эволюция писателя и критика Я. А. Галинковского. Потомок старинного казацкого рода, кавалергард, получивший хорошее, выходящее за рамки обычного дворянского, образование, он начал свой творческий путь как убежденный сторонник карамзинского направления. Так, в 1799 году он опубликовал сборник в двух томах «Часы задумчивости, сочинение Иакова Галинковского». По характеристике самого автора, это «течение рассеянных мыслей, на особых лоскутах бумаги», которые он записывал, «дав волю чувствам», «без плану и цели». ¹ Все в этой книге, от эпиграфа из Стерна, заключающего обращение к «драгоценной чувствительности», до упоминания Вертера и отрывочного, эмоционального стиля, свидетельствует о влиянии Карамзина. В 1801 году Галинковский издал книгу «Красоты Стерна, или Собрание лучших его патетических повестей и отличнейших замечаний на жизнь для чувствительного сердца», а в 1807 году — «Утренник прекрасного пола». Последнее издание имело уже, видимо, коммерческий характер. По крайней мере во взглядах автора, начиная с 1802 года, можно отметить резкий сдвиг. В этом году Галинковский начинает выпускать периодическое издание «Корифей, или Ключ литературы», задуманное как своеобразная литературная энциклопедия и представляющее значительное явление в русской критике. Как и Андрей Тургенев, Галинковский начинает с выражения резкой неудовлетворенности современным состоянием русской литературы.

Система воззрений, развернутая Галинковским, позволяет говорить о широком и разнообразном воздей-

¹ «Часы задумчивости, сочинение Иакова Галинковского», ч. 1, М., 1799, стр. 4.

ствии на него русской и западноевропейской демократической литературной традиции.

Главное достоинство литературы он видит в народности. «Надобно быть везде русским. Надобно особенно составлять *свой национальный вкус*». ¹ Мнение о том, «что люди всегда одинаковы», ² оспаривается. Очень интересно представление об особенностях национального характера, изложенное в статье «Мнение о характере русских». Прежде всего автор отмечает, что подлинные национальные черты сохранились только в народе (такого же мнения был и Андрей Кайсаров). Дворянство рассматривается как сословие «бесхарактерных, испорченных россиян: два миллиона только преобразились в иноплеменных, не своих». Двадцать же миллионов народа представляют собой «настоящих русских, сохранивших ненарушимо свой коренной характер, свои природные добрые свойства, свои любезные пристрастия к отечеству». ³ Особенно интересно истолкование Галинковским характера народа, сближающееся с позицией Гнедича. Русские обычаи сравниваются с образом жизни народов античного мира: «Нигде мы не похожи столько на греков и римлян, как в сих занятиях. Наши позорища, наши игры во всем с ними сообразны. Греки и римляне были страстные охотники до кулачного бою, до борьбы, до ристалищ, до травли. Все сии зрелища прошли мимо глаз наших, потому что они всегда были забавою одних неизнеженных, бранноносных народов. Ежели бы какой-нибудь творческий ум хотел воскресить еще раз грека или римлянина на сцене мира, он бы нашел его в сердце русского». ⁴ В связи с этими принципами определилось и отношение Галинковского к поэтической форме. Он заявляет себя сторонником гекзаметра и берет под защиту поруганную память Третьяковского. Выступая против традиции, утвердившейся в дворянской литературе от Сумарокова до карамзинистов (к поэтической деятельности Третьяковского отрицательно относился и Шишков), он писал: «Мы забыли, что он сам был ученик Роллена, первый профессор нашего красно-

¹ «Корифей, или Ключ литературы», кн. II, СПб., 1802, стр. 170. Курсив здесь и далее — Галинковского.

² Там же, кн. I, стр. 160.

³ Там же, кн. I, стр. 60.

⁴ Там же, стр. 167—168.

речия, первый знаток древних авторов, человек необыкновенного, глубокого знания в науках, человек, который едва ли являлся с тех пор с таким обширным учением; забыли мы, что он один написал более полезных книг, нежели десять современников, и обеславили память его за одну смелую идею ввести в российский язык стопосложение греческое». ¹ Признавая большое дарование Ломоносова, Галинковский, однако, вслед за Радищевым отдавал предпочтение иному поэтическому направлению. Ломоносов вводил «германские стопы и рифмы, которые нимало не превосходили сами по себе (гекзаметров. — Ю. Л.), хотя и имели представителем великое личное особенное дарование». Третьяковскому «надобно было идти против воды: он упал под бременем сего великого предприятия; силы языка были еще слабы, не образованы в столь ранние годы нашей словесности. Соперник его был сильнее, восторжествовал, и мы забыли память его. Свидетельствуюсь его бессмертным духом, его творениями, что это неблагоприятно. Время отмстит некогда сию обиду, и родятся некогда счастливейшие дарования, которые отважатся по проложенной им дороге возвыситься до красот сказания (дикции) Гомеровой». Галинковский призывал «ввести величественное течение греческого древнего стиха, так свойственного природе нашего стихотворства». ² Характерно отрицательное отношение его к рифме. В словаре литературных терминов, приложенном к тому же изданию, находим определение, прямо связанное с «Словом о Ломоносове» Радищева и с предисловием к «Тавриде» Боброва. «Рифма — единозвучие слов — с нападением готов напала на поэзию и заковала ее в оковы». ³ Резко отличается позиция Галинковского и от воззрений шишковистов: он — решительный враг церковной старины, религиозных предрассудков, пропагандирует имена Лессинга, Дидро, Шлегеля, мадам де Сталь. О «Разбойниках» Шиллера он отзывался с похвалой, однако особенное предпочтение отдает Шекспиру.

Тем большее любопытство вызывает дальнейшая деятельность Галинковского в качестве секретаря «Бе-

¹ «Корифей, или Ключ литературы», кн. I, стр. 68.

² Там же, кн. I, стр. 68—69.

³ Там же, кн. II, стр. 10.

седы». Последнее обстоятельство, однако, знаменательно. На формирующуюся декабристскую эстетику оказывала влияние не только демократическая мысль XVIII века с ее требованием прав человека, но и новаторская деятельность поэтов типа Крылова, сущность позиции которого была в раскрытии национального своеобразия, исторически сложившейся психологии народа. Глубоко отличаясь от реакционного «традиционализма», эта точка зрения, в силу незрелости внутриидеологических конфликтов в литературе тех лет, далеко не всегда осмыслялась как самостоятельная. Этому способствовала и борьба, которую оба направления (с разных позиций) вели с карамзинизмом.

Для определенной группы писателей — таких, как Грибоедов, Катенин, позже Кюхельбекер, — объективное сближение с демократической народностью Крылова субъективно осмыслялось как причастность к принципам шишковистов.

Таким образом проблема народности оказывается в центре литературной борьбы первого десятилетия XIX века. На ней в наиболее четкой форме проявляется то новое, что свойственно для демократической мысли этого периода. Вместе с тем именно она является тем пробным камнем, который позволяет наметить грань между лагерем дворянских либералов и той общественной группой, в мировоззрении которой намечались черты будущей дворянской революционности.

Литературная жизнь первого десятилетия XIX века характеризуется нечеткостью лагерей, обилием переходных идеологических форм и промежуточных фигур. Для прояснения лагерей потребовалось влияние событий 1812 года. Однако бурные восходы 1815—1825 годов были подготовлены именно в этот период.

**О РУССКОМ
РЕАЛИЗМЕ
XIX ВЕКА
И ВОПРОСАХ НАРОДНОСТИ
ЛИТЕРАТУРЫ**

· СБОРНИК СТАТЕЙ ·



ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА ЛЕНИНГРАД
1 9 6 0